

Борис  
ЕВСЕЕВ



Борис  
**ЄВСЄЄВ**

---

Очевидец  
грядущего



Москва  
2018

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Е25

Оформление серии  
*Андрея Саукова, Филиппа Барбышева*

Иллюстрация на переплете  
*Филиппа Барбышева*

**Евсеев, Борис Тимофеевич.**

Е25 Очевидец грядущего / Борис Евсеев. — Москва : Эксмо, 2018. — 544 с. — (Странствия души. Проза Бориса Евсева).

ISBN 978-5-04-098383-4

В 1901 году Николай Второй открыл ларец, оставленный ему прадедом Павлом Первым и прочитал письмо императора с предсказаниями иеромонаха Адама, звавшегося еще и Авелем Вещим. Гибель дома Романовых, революции, войны, череда правителей на века вперед, конец света — все это и многое другое провидел Авель. Но предопределено ли все или мир к лучшему переменится?.. Об этом — увлекательный, страстный, волшебный роман Бориса Евсева о вечных вопросах и о великом будущем России.

**УДК 821.161.1-3**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6-44**

© **Евсеев Б., 2018**  
© **Оформление.**

**ISBN 978-5-04-098383-4**

**ООО «Издательство «Эксмо», 2018**

# Авель Вещий. Пролог

Серой безветренной ночью, внизу у забора — слабый шум, за ним — вороватый хруп: под чьей-то неловкой стопой, с глухим треском проломился остаток ноздреватого льда. Резко вскинувшись, он сел на постели, в последние недели расстилаемой прямо здесь, в кабинете. У забора всё стихло, зато через минуту-другую, уже в сенях, на первом этаже — кашель. Чуть спустя — разговор.

Голоса были неясными, а вот глухой, с металлическим призвуком кашель, тот звучал отчётливо и, без сомнения, что-то напоминал. В одном белье, не накидывая халата, он сделал несколько шагов и легонько толкнул двустворчатую дверь. Дохнуло примороженной апрельской гнилью: Тобол давно вскрылся ото льда, но в городе, по рассказам, ещё кое-где лежал снег. Грязно-жёлтые, смёрзшиеся, продырявленные мочой островки его попадались и во дворе бывшего губернаторского особняка. Однако набегала уже из азиатских степей яро-красная теплынь, звенела в ночном воздухе птичья пустая сухость...

Не решаясь двинуться дальше, он остановился на пороге и постарался себя успокоить: это снова поварской ученик Седнёв затеял игры с охраной! Ночная тревога была не ко времени, мешала сосредоточиться на главном: до отправки



в невыясненном направлении — всегдашний осведомитель Кирпичников утверждал, что в Екатеринбург, а после, возможно, и в Москву — оставалось всего два-три дня.

Внизу скрещения и развилины голосов обозначились ясней.

— ...даром я, что ль, сквозь кордоны ломил, через Тобол переправлялся?

— Даром не даром, а не пуцу. Отвечай, как сюды проник? Да руки, контра, держи перед собой, чтоб я их видел!

— Через калитку и проник. Пусти чернеца, а, солдатик? Рецепт для государя имею чудодейственный.

— Глохни, леший! Был государь, да весь вышел. Говори: как мимо караула проскользнул?

— Филя ты, филя! Да за такие слова про государя я б тебя одним мизинным пальцем сколупнуть с поста мог.

— Гляди, как бы самого к стенке не поставили!

— Это почему ж я у стенки стоять должен?

— Да ты, что ли, с неба упал, дядя?

— Ага, оттудова.

— Вот доложу — р-раз тебя, и в Чека! «Шпоры» и не таких уму-разуму учили. Мигом в штаб Духонина определяют.

— Шпоры — это кто?

— А ты допытлив, дядя. Шпорами мы, красноармейцы, чеканых зовём. Ох, чую, пустят тебя в расход!

— Так уж хотели в Омске. Не вышло. Ты скажи лучше: кой нынче год, знаешь?

— Год?.. Второй год революции. Иди отсель, дядя, иди. Не велено на посту болтать.

— Да я не про то. От сотворения мира год какой? Не знаешь, так я скажу: 7427! А конец мира — он в 8400 году быть назначен. Так что уж семь лет как обратный отсчёт начался. И как раз в нынешний, седьмой год последнего тысячелетия, решится: быть ли окончательному концу мира или мир к луч-



шему переменится! Конец мира — слышь-ка? — предвосхищён, а не предопределён ещё.

— Ты что несёшь, дядя? Вижу, болен ты. Уже второй год, как мир к лучшему переменился!

— Вижу, грамотный ты... А чего ж тогда не в штабе, чего тут торчишь?

— Грамотный-то я не шибко, а по цифрам разбираю. Шёл бы ты скорей отсель. Старшой вернётся, несдобровать тебе. А говорю с тобой, потому как жаль мне тебя! Ишь, мокрый, как хлющ. И дрожишь, будто в лихотанке. Так тут и дохтор есть.

— Раз один только дохтора меня и пользовали. Это когда я чумой, по-лекарски пестиленцией, хворал, — опять кашель, но уже со смехом, а смех — тот с ехидцей...

По этой-то ехидце, смешанной с металлическим кашлем, назвавшийся чернецом признан и был. Сразу вспомнилось: пятнадцать или шестнадцать лет назад, втайне от всех, посетил он терзавший наяву и во снах Михайловский замок. Посетил потому ещё, что в последний год почувствовал в императоре Павле нечто близкородственное, магнетическое, то, чего ни в отце, ни в матери не чувствовал. В «Дневнике» записей о предстоящем посещении не делал, сопровождавшим приказал ждать у подъёмного моста.

В час вечерний, час поздний замок прадеда был пуст. Пробыв с полчаса и уже собравшись уходить, усмехнулся: пустое! Ничего странного во дворце не происходило. Ну, хлопнула разок-другой дверь наверху, ну, отводные трубы прибулькнули, сырость-тьма петербургская белёсая стугутилась...

Тут зазвенело в ушах. Следом — резко, дурашливо — свистнула старинная флейта: флажолет. Он обернулся на звук, и внезапно в замке пригас свет. Шевельнулись шторы, и меж них возникло бело-пламенное — пирамидальным столпом — свечение. Затем раздалось стариковское кряхтенье, а чуть спу-



стя — чахоточное покашливание. Сразу отлегло от сердца: не прадед! Не Павел Петрович! Тот до хворей стариковских не дожил. Однако ж если не Павел, кто тогда по Михайловскому замку бродит?

Вслед за покашливанием раздался негромкий, но внятный голос:

— ...и года не прошло, как прочитал ты письмо императора Павла. А туда же! Нелепым надзором забавляешься. Имя моё упоминать запретил. А ить я старец, и ты меня должен со всем почтением слушать.

Тогда, в Михайловском замке, он негромко, но отчётливо произнёс:

— Такова моя воля. А значит, и воля Божия. Я от Бога России дан, а ты вот от кого? Выйди-ка из-за шторы, любезный, представься по форме.

— Авель я. Неужто позабыл нашу встречу? Из-за твоего упрямства снова встретиться нам пришлось. А ить упрямство твоё смехотворно. И не ко времени. Чувешь? Небо гудит! А шаги в треске пламени слышишь? Это неслыханное мученье к тебе крадётся. Вон оно на воздушных простынках пальцем намалёвано!

Осмотревшись и намалёванного не увидев, он сперва впал в раздражение, затем почувствовал страх, а после — растерянность. Тут электричество в замке погасло окончательно. Двигаясь впотьмах, он налетел на какую-то жардиньерку и расстроился ещё сильнее: схлынула властность, как сквозь дырочку в медном тазу стала вытекать миропомазанность. В сокрушающей тьме Михайловского замка, сбиваясь на фальцет, он слабо крикнул:

— Ты где, отче? Покажись видом...

Ответа не последовало. Снова фальшиво и резко, — как будто разучивал сложную пизсу неопытный музыкант — зазвистал флажолет. А вслед за звуком, чуть светясь, странное





дуновение пронеслось по Михайловскому замку! словно бы вылетел из стальной трубы спёртый воздух и на лету стал превращаться в кудреватый водяной пар. Шевеления усов и бород, обшлага мундиров и завязочки женских панталон, бальные платья и серебряные черепа на шапках чёрных гусар на миг обозначились в облаке водяного сияющего пара.

— Какой ошеломляющий парад, — стараясь унять волнение, произнёс он тогда вслух.

От слов этих облако взвинтилось смерчем и на трижды перекрученной, витой ноге двинулось прямо к нему. Как под водой, стало нечем дышать. Судорожно втягивая в себя воздух, кинулся он из Михайловского замка прочь. На улице вздохнул спокойней. Здесь была жизнь достоверная: короткие ясные команды, стройно играющие оркестры, военные учения, походящие на чётко расписанные — танец за танцем — балы. А вслед за учениями и сами балы, по язвительному замечанию одного из светских генералов, точь-в-точь напоминающие военные ученья... Витая нога, впрочем, вскоре забылась, а вот покашливание и старческое насмешничество — те вспоминались не раз.

Теперь, в Тобольске, ясно припомнилась и первая встреча со старцем.

\* \* \*

Утром 12 марта 1901 года с императрицей, частью свиты, кинооператором и его ассистентом, в шести закрытых каретах — автомобили у Александры Фёдоровны всё ещё вызывали подозрение — следовали на станцию железной дороги. Ветер порывами носил над мостовой колкий снег. Настроение, однако, было приподнятое, даже возвышенное. Предстоял путь по железной дороге в Гатчину. Мглистое, натканное игольщиками мороза, но все равно сыроватое петербургское утро не препятствовало сентиментальным, едва ли не поэти-



ческим мыслям: дело в Гатчине предстояло любезное сердцу, дело семейное, нужное. Но и к истории, без сомнения, отношение имеющее: ехали вскрывать оставленный императором Павлом прямому наследнику по мужской линии пакет, вот уже сто лет хранившийся в опечатанном ларце.

Тихая детская радость от предстоящей поездки по железной дороге росла, ширилась, как вдруг на одном из перекрёстков, ближе к станции, чуть не под копыта кинулся то ли монах, то ли и вовсе какой-то побродяга. Костистый, простоволосый, в просторном, с чужого плеча армяке, из-под которого виднелась некогда серая, но от времени порыжевшая ряса. Был побродяга бледен лицом, на щеках имел розовые с неровными краями пятнышки, борода каурая метёлкой растыкалась в стороны. Однако, несмотря на худобу, чувствовалось: побродяга очень силён и уверен в себе.

Александра Фёдоровна вздрогнула. Кучеру приказано было остановиться.

— Надо бы еттого нищего в работы, — нахмурилась императрица.

— Милая Аликс, «Особое присутствие по разбору и призрению нищих» правом принуждать к работе не обладает. Да и сами побродяги нищету свою больше, чем дома призрения, ценят.

Выйдя из кареты, он протянул побродяге ещё с вечера заготовленный полуимпериял, произнёс «на счастье» и ободряюще улыбнулся. Побродяга глянул на полуимпериял, увидел на нём отчётистый царский профиль, перевёл взгляд с монеты на оригинал, булькнул горлом, цепко, двумя пальцами, ухватил монету и, не раздумывая, зашвырнул её далёко в снег. А сам внезапно стал валиться на бок.

— Regardez-moi! Вы гляньте только! Да у него настоящий обморок, — долетел фрейлинский смешок из кареты сопровождения, в которой тоже приоткрыли дверь.



— Ах, какой нъезный этот нищий, — поддакнул фрейлине кто-то из свитских.

Полежав несколько секунд с закрытыми глазами, побродяга вдруг перевернулся на бок, высолопил, как собака, язык, два-три раза лизнул им островок уже начавшего чернеть снега, стал подниматься на ноги, как вдруг, зарывав, упал вновь. Из окна уже готовой двинуться дальше кареты было хорошо видно: нищий всё же встал, замахал руками, потом поочерёдно при-тронулся пальцами к нижним векам и, мыча, попытался что-то сказать:

— А-а-ль... А-эл-ь... ... — вылетело у побродяги из горла, и за этими звуками вслед полетел глухой, с металлическим отливом — словно в груди у нищего была спрятана небольшая труба — чахоточный кашель.

— Да у него грудная болезнь. Что он пытается сказать? — Императрица недовольно распрямилась.

— Похоже, скоротечная чахотка. Мне кажется, он пытается выговорить чьё-то имя. Но, возможно, у него подсечён язык. Я видел на Урале одного каторжанина, тот произносил звуки подобным же образом.

— Н-не бойся... письма, — выхаркнул из себя наконец побродяга, — ты слеп, а должен прозреть. Прозреешь — действуй... Иначе... Иначе...

Ветер разобрался сильней. Словно подхлестываемый этим ветром, нищий с подсечённым языком стал коряво и дёргано водить рукой по воздуху. Показалось: побродяга вычерчивает буквы, даже целые слова. С немалым напряжением, тогда удалось прочесть: «...как Павелъ». Тут же нищий повернулся лицом на юг.

Ни сам побродяга, ни написание букв по воздуху тогда его не смутили. Смутил непонятный смысл, вкладываемый в начертание: «...как Павелъ». А вот императрицу нищий в порывшей рясе привёл в негодование.



— Dieser Bettler ist unamöglich. Wir fahren eher. Этот нищий невозможен. Едем скорей назад, — повторила по-русски Александра Фёдоровна и плотней закуталась в расписной павловопосадский платок, для выезда из Петербурга ею на плечи уже однажды накидывавшийся. — Уж етти мне нищие! Они плохой знак. Дороги сегодня не будет.

— Но как же пакет, Аликс? Я ведь не раз тебе говорил: император Павел приказал вскрыть его ровно через сто лет после его смерти: день в день.

— Волю императора следует, конечно, исполнить. Но я уверена: нищий каторжник — дурное предзнаменование. Необходимо отложить поездку. Пусть на день, на два.

— Хорошо. Хотя прадед всегда требовал неукоснительной точности. И вряд ли здесь упрямство и своеволие.

— Я прошу тебя, Ники! Едем назад! Скорее...

— Что ж, пожалуй, — неохотно согласился он, — я тогда ещё покатаюсь в санях, а ты отдохнёшь от этой встряски. Поворачивай назад! — в сердцах крикнул он кучеру.

Громоздкий царский поезд медленно развернулся, императрица смежила веки, а император, приоткрыв дверцу кареты, ещё раз оглянулся. Нищий снова поднял руку, осеняя царский поезд троекратным крестным знаменем...

До обеда катались с Воейковым в санях, но недолго: погода оставалась невразумительной. Вечером наслаждался игрою оркестра. Вдруг во время исполнения симфонии Чайковского, среди тревог и скорби, в группе духовых — бледное, с ржаво-красными пятнами, чуть удлинённое лицо побродяги. Он хотел подняться и выйти. Однако медный отблеск с лица музыканта быстро исчез, тень, принятая за растыканную в стороны бороду, — тоже. Тревожная музыка сменилась лёгким оркестровым галопом...

В Гатчине удалось побывать лишь 8 апреля.



Парк перед дворцом встретил сладкой, чуть гниловатой прелью. Матушка-императрица, как доложили, ещё почивала. Воздух полусгнившей зимы, воздух не вполне весенний, но уж, конечно, и не зимний, вызвал чувство неопределённости.

Пакет, хранившийся по распоряжению Павла Петровича в одной из опочивален в Центральном корпусе дворца, было приказано принести в парадную залу. Из свитских никто в залу допущен не был: не хотелось излишнего внимания. Матушка-государыня всё ещё была у себя.

— Что же ты медлишь, братец? Ступай, неси пакет, — обратился он к лакею, который, казалось, силился что-то выговорить, но, как видно, не смел.

— Может, ещё отложим, Ники? День сегодня не вполне подходящий.

— Милая Аликс, мы ведь почти месяц откладывали. Будь любезен, неси пакет, — обратился он уже строго к лакею.

Лакей, глубоко поклонившись, вышел. Через минуту-другую где-то на верхних этажах Гатчинского дворца, в котором Павел Петрович души не чаял, резко стукнула дверь. Вслед за стуком послышались шорох и слабенький топоток: словно бежал ребёнок. Впрочем, топоток быстро сменился осторожными шагами, за окном вмиг потемнело и закричала ворона: раз, другой, третий. Крик её был странен и дик, слышался в крике треск столетних ветвей, хруст ломаемых сучьев, ураганный далёкий рёв:

— Тр-р-ц! Тр-р-ц-ц! Трц-ц-цк!

Императрица отступила от окна на шаг, и тут же повалил медленный, крупный, вовсе не апрельский снег. Снег, впрочем, тут же кончился. Но солнце не выглянуло. Вместо него вслед за вороньим криком разнеслось — так послышалось Александре Фёдоровне — нечто схожее с тихим змеиным посвистом.



— Хорошо — рядом никого. Я, кажется, слышала змеиный свист, Ники. А перед тем... — она на миг загнулась, — детский... Боже мой, как это по-русски?.. топоток.

— Это торопятся слуги, Аликс. И воображение у тебя разыгралось: кому тут свистеть?

— Нет, нет, свист был! И шажонки — будто би детские...

Он тогда ещё раз прислушался, но ни посвиста, ни шагов не услышал. Правда, затрещал — и уже вполне явственно — синематографический аппарат. В тот день снимать во дворце он запретил, разрешил лишь в парке и на обратной дороге в Петербург. В недоумении глянул он на приоткрытые створки дверей, ведущих в парадную залу. Кинооператора с треногой видно, однако, не было. Перевёл взгляд на императрицу — та закрыла глаза, ушла в себя, треск плёнки до неё явно не долетал.

— Ваше величество, пакет.

— Вскрывать же, братец. — От нетерпения он даже привстал.

Как только лакей справился с сургучами, он ещё раз внимательно осмотрел надпись, снова уселся за крохотный столик и принялся разбирать крупный, неровный, на концах слов раздражённо взмывающий вверх, прадедов почерк...

Через две-три минуты письмо Павла Первого и несколько листов с предсказаниями монаха Авеля были отодвинуты в сторону. Мелкая колючая слеза выкатилась на одну из ресниц. Отирать слезу он не стал, крепче сжал веки...

\* \* \*

*Павел Петрович любил нахохленный, глядящий сычами сумрак*

*Он шёл по пустому Гатчинскому дворцу на цыпочках, не решаясь этот сумрак спугнуть. Шёл легко, полётно,*



радуясь своей зрительной памяти. Из заулка в заулочек, из чулана в тайную комнату. И опять — в сладко-сумеречную залу. Пакет, который он нёс в руках, жёг императору пальцы. Но все одно Павел Петрович был доволен: пусть читают. Пусть изопьют до дна тоску бесправной власти! Ему самому с такой пошатнувшейся властью — скорее всего конец. Империи — тоже. Не сразу, но империя кончится. Так не только старец Авель говорит. Так думает и он сам, самодержец всероссийский. Прадед Пётр такой колеблемой извне власти тоже боялся. Придут ласкатели солдатских жоп, рассядутся близ трона срамники, с ними в ряд — болтуны и куртизаны! Будут до той поры выкомаривать — покуда не изведут династию. Или покуда не закричат тем куртизанам с Большой Московской дороги осипшие от ярости ямщики: «А приехали! Скидовой штаны! Как сидоровых коз, драть сейчас будем!»

Слова выговаривались легко, мысли вспыхивали ярко, как перед апоплексическим ударом (о котором, впрочем, один только лекарь Вилье ему и толковал). Стало тяжело шее, легко языку. Но, может статься, вовсе не апоплексия его караулит? Скотландцу Вилье — курвецу и паскуднику — с некоторых пор доверия не было.

Впрочем, мысли в сторону. Пакет должен быть отдан на сохранение неверной, а всё ж таки супруге. Сперва казалось: нужно просто спрятать пакет понадежней. Но нестерпимая мысль о том, что пакет обнаружат слуги, перевесила: пакет будет вручён императрице. Он и вручил. И без промедления стал возвращаться к себе в опочивальню: опять-таки кружным путём, а не через соединявшую супружеские спальни дверь. Шёл, чтобы ещё раз насладиться планом Гатчинского дворца. План этот был до изумления прост. Слева крыло и справа. Наверху — бельведер и подоба-